

Алла Боссарт
БАРАБАНЫЕ ПАЛОЧКИ

Серия «Самое время!»

«Барабанные палочки» — так называлась в старой игре лото цифра 11. Так называется одна из 11 повестей нового сборника Аллы Боссарт — история о магии чисел и, конечно, о любви и смерти. Каждая из повестей, даже тех, что выходят за рамки реальности, населена персонажами, которых мы встречаем в жизни на каждом шагу. Но кто бы они ни были — бомжи, художники, деревенские старухи, подростки, бизнесмены, даже собаки и коты — это полнокровные люди с уникальными характерами, которые всегда могут рассчитывать на любовь и жалость автора. Как во всех произведениях писателя, здесь неразрывно слиты юмор и драма, фарс и трагедия. Это оптика, которой вооружена Алла Боссарт, что бы она ни писала: публицистику, прозу или стихи.



ПРОВОДНИК

На обоих тротуарах в ожидании зелененького человечка, какие частенько являлись Зинке в разное время суток, но особенно все-таки поздними вечерами: бойко выпрыгивали из разных мест, иногда совсем плоских и пустых, как например облезлая стена против матраса, ну из зеркала-то (когда оно у Зинки было), понятное дело, эта сволочь валила буквально толпами, непристойно задирая ножки; итак, в ожидании знака «Вперед!» стояли пешеходы и напряженно смотрели, как некое чучело форсирует шоссе. Магистраль являла собой шестирядное полотно. По три потока в каждую сторону неслись на дикой (с точки зрения пешеходов, стоящих и наблюдающих эту схватку человека с технической стихией) скорости разнообразные автомобили, главным образом иномарки, что не редкость в XXI веке в одном из крупнейших мегаполисов мира. Человеческое же существо неясного вида ползло и ползло себе на полусогнутых, время от времени припадая на четыре точки и в этом более устойчивом положении продолжая свой беззаветный путь.

У некоторых пешеходов нервы не выдерживали, и они принимались кричать: куда, типа, мудака, прешься, задавят, мудака, нахер, размажут, пьянь грёбанная, на колеса наматывают, а людям отвечать, сука!

Подобный уровень уличного общения в мегаполисе — вещь привычная, никто и не вздрогнет. Ничего плохого это о москвичихах не говорит: народ на пределе, стресс плющит население с утра до ночи, поэтому многие, как та же Зинаида, пьют запоем водку, а кто не пьет — разряжается вот примерно так, с позволения сказать, вербально. Даже наоборот, такая открытая реакция пешеходов (все еще, между прочим, стоящих как вкопанные перед красным сигналом светофора) — свидетельство душевности и милосердия, ибо сказано в Евангелии: «от избытка сердца уста глаголют».

Ну, в общем, когда бедовый персонаж, чудесным образом невидимый, преодолел бешеную реку транспортной коммуникации и был уже на расстоянии вытянутой руки от тротуара, эти сердечные руки к нему немедленно и потянулись и выволокли его на берег. И что же? Под грязной бейсболкой, трикотажной фуфайкой того цвета, каким бывает отвар немытой свеклы, какими-то драными опорками — то ли галошами, то ли кедами, под бесформенными заблеванными штанами крылась, к общему

удивлению, женщина. С лицом хотя и сизым, но приятно курносым.

Тут зажегся зеленый, и все, в основном, скорее побежали на ту сторону, потому что путь открыт для пешехода, как известно, секунды четыре. Но некоторые, особо милосердные, у кого такой прямо непосильный переизбыток сердца, — схватили эту бабу (а именно Зину) за руки и за плечи и за локти и за бока, поставили ее стоймя и заорали на нее от всей души: «Какого хрена ж тебя несет, блядь бухая, мать твою ети, сдохнешь ведь ни за грош, дура неумытая!»

И неумытая дура Зина вдруг резко вся подтягивается, будто ее поддержали на ниточках, держит спинку, которая у нее под рваной по заднему шву кофтой, надо сказать, абсолютно голая, ставит ручки по-балетному кистями от бедер, а ножки в третью позицию, сильно раскрывает свои круглые глаза наподобие желтых сигналов светофора и гордо говорит:

— Меня послали. Вы меня не трожьте. Ребята послали. В маазин... Вот сюда, в стекляшку. Щас водочки куплю и назад. Не мешайте мне, пожалуйста. Ребяточки ждут.

Ну, тут даже святые отшельники из тех, что питаются этими... ну... аскаридами? Акридами, да! Даже они плюют слюной себе под ноги:

— Тьфу на тебя, идиотина, подыхай как хочешь. Одной пьянью меньше.

И Зина, все еще держа спинку, гордо вытянув вверх и немного вперед длинную жилистую шею и семена своими галошами, мелким балетным шагом чешет в стекляшку, где ее дальнейшие жизненные пути теряются. Как думают пешеходы, забыв об этой пьяной идиотке Зине через две минуты.

На самом же деле Зинаида покупает на собранную ребятами мелочь два пузыря самой дешевой водки и баллон пива «Очаково» и снаряжается в обратную дорогу. На красный, само собой, свет. Где мы, проследив за ней до разделительной полосы, временно ее оставим, потому что пьяных, как следует из национальной идеи, бог бережет и море им по колено.

И с этой северо-западной магистрали перенесемся наоборот на восток, а точнее северо-восток, где Европа подбирается к Азии, или, что звучит более зловеще, хотя исторически оправданной — Азия протягивает свою мозолистую уральскую руку (или ногу), хватаясь за край Европы и постепенно заглатывает ее, если можно представить

себе широкий скуластый рот на конце руки или ноги, почему бы и нет. Подобные образы — не редкость в мозгу, «осыпанном алкоголем», как замечательно выразился поэт Есенин, высоко ценимый, кстати, запойною Зиной за его излюбленную проблематику.

Ну вот, значит. В северо-восточном регионе Российской Федерации, в городке на берегу реки Камы, проживает чудесная девочка Юляша с волосами, как древесные стружки, и абсолютно круглыми, словно циркулем очерченными, совиными глазами, в остальном же как раз на него и похожая, на этот чертежный инструмент циркуль, если сверху к нему присобачить худенькие лапки в цыпках. Работает симпатичная девчонка на маленькой камнерезке в цеху первичной обработки самоцветов и там же в училище при фабрике обучается на мастера-камнереза без отрыва от производства.

У Юляши удивительная память. Например, она помнит, как совсем крохотулькой, лет двух от роду, бегала по огромному зеркальному залу и, подпрыгивая, по-обезьяньи цеплялась за длинные палки вдоль стен и так висела, дрыгая тощими ногами. А мама в черных рейтузах стояла у зеркала, держась длинной рукой за палку, и задирала красивую ногу выше головы. Юля помнит отчетливо, что нога была очень длинная и очень красивая, и она, Юля, боялась, что шуплая мама упадет, потому что стояла, как фламинго в зоопарке, на одной ножке, причем на пальчиках. В атласных тапочках с лентами. В комнате, где они кое-как жили, такими тапочками были завалены все подоконники, стол, стулья и широкий матрас на деревянной раме — он же диван, он же и кровать. И Юля с этими тапочками играла, потому что других игрушек не было. Станцованные до дыр балетки мама отдавала ей насовсем, но сперва по Юлиной просьбе фломастерами рисовала на твердых мысочках лица и говорила: «Ну вот тебе еще бирюльки». Хотя получались никакие не бирюльки, а самые настоящие куклы, которых можно было пеленать и укладывать спать.

Чтобы мама не упала, Юляша подбегала к ней и обнимала ее за опорную ногу. И тогда старуха, которая сидела на стуле спиной к зеркалу, начинала кричать: Зина, убери ребенка, невозможно работать!

А потом Юля помнит, как приехала бабушка Агаша и увезла ее на поезде из большого города, как выяснилось впоследствии, из Москвы — вот сюда, на берег Камы. У бабушки оказался свой дом на самом берегу, там Юляша

и поселилась и живет уже четырнадцать лет. Юля бабушку любит, и дом с лоскутными половичками, горкой подушек на кровати, иконами в изголовье и фотокарточками по стенам ей нравится, места много. В Москве-то у них с мамой не то что дома, даже и квартиры не было, а жили они (помнит Юля своей цепкой, как ежевика, памятью) в семейном общежитии. Да и семьи-то никакой не было, если, конечно, не считать их с мамой.

Со временем, правда, у Юляши случилось огорчение. Она по секрету рассказала одному там Коле, с которым дружила в училище, что у нее мама — балерина в Москве. И про Бирюльки рассказала, и про всё. А тот, гад, не только, разинув пасть, тупо ее оборжал, но и предательски раззвонил повсюду, какая Юлька дура: небось всем известно, что никакой матери у ней нет, и живет она с бабкой, а матери-то и вовсе нету, не то что московской балерины или там кого! И над Юлькой еще долго потешались и прозвали Бирюлькой.

— Ба, — спросила раз Юля. — А чего я с мамой не живу?

— А ты у ней спроси-тко, у матери этой, — поджимала морщинистые губы баба Агаша и начинала греметь сковородками, и Юля понимала, что опять чо-то сморозила.

Впрочем, на размышления у Юляши времени особо не оставалось. Баба Агаша не так чтоб сильно старела, сил у северной старухи еще хватало и дров наколоть, и полы выскоблить, и перестирать-перекрахмалить да выполоскать по привычке в реке, хотя воду с колодца насос теперь прямо в дом качает, груды большого постельного белья с подзорами и покрывалами. Плохо другое — слепла, слепла бабушка, да и ослепла, ровно крот. Сперва на один глаз, а как он бельмом закрылся, — болячка перекинулась на другой. В общем, крутилась теперь Юляша, как веник. Бабулю с утра накормить, после работы, она же учеба, — в сельпо, Соня-продащица ей всегда и хлеба свежего оставит, и колбасы, если завозили, и молока: коровы Агаша давно уж не держала, городок застроили, пасти негде. А дома — варить, обратно кормить, стирать за бабушкой — сослепу становилась Агафья Тимофеевна неопрятной, правду сказать — совсем грязнулей. Ну и печку натопи, полы вымети, собаку да кур покорми... В общем, валилась так называемая Бирюлька к ночи замертво. А утром все сначала.

Камень, на котором первогодки обучались ремеслу — из самых мягких и дешевых, черно-зеленый змеевик. Но даже этот легкий материал падал из уставших Юлиных рук, крошился, резец соскальзывал, и однажды, резала она как раз

маленькую совушку для кулона, сильно полоснул по пальцу, аж до кости. Юляша побледнела и сползла со стула прямо под ноги к мастеру, так как до смерти боялась крови, даже кур казнить отказывалась наотрез, и слепой бабке приходилось за бутылку плохого самогону звать соседа Митю — обыкновенно, алкоголика.

Мастер Анатолий Игнатьевич сам был без двух пальцев через свое ремесло и к ученической травме отнесся со всей серьезностью.

Юлю на директорском газике свезли в больничку, там рану зашили, дали на неделю бюллетень и тем же транспортом доставили домой.

— Ты вот что, Тимофеевна, — сказал сопровождающий мастер, сажая Юлю на сундук в сенцах. — Ты девку-то временно не мордуй, дай отлежаться. Производственная травма у ней. Потеря крови не меньше поллитра. А ты, Юлия, не скачи, болей, как положено, кушай бульон и яблоки, в них железо. Будем тебя помнить и ждать.

И с этими словами Игнатьич неловко погладил Юляшу тремя наличными пальцами по теплой голове да и похромал восвояси. Пальца-то у него не хватало также и на ноге, правда, по другой причине и обстоятельству, а именно: ужалила змея-гадюка, и пришлось прямо тут же, в лесу, отравленный орган немедленно отрубить топором, чтобы яд не распространялся по кровеносной системе.

О поделочном камне змеевике, предназначенном для дешевеньких украшений и сувениров, ходили слухи, что хоть ценности в нем особой и нет, но есть зато одно чудесное свойство. В старину небольшой осколок змеевика растирали в пыль и заливали спиртом. Когда же осадок исчезал, стакан того спирта следовало выпить одним разом, что многие и делали. И после пальцы якобы могли чувствовать любую жилу, чуть ли не кимберлитовую трубку в самом сердце горы. Даже рубин слышали, не говоря о малахите или там яшме. Но, если честно говорить, сам лично никто такого рудознатца не встречал. Может, с дозой путали, а может, и вообще ввали.

Что же касается Бирюльки, то с ней, как пошел палец ее на поправку, стали происходить другие странности.

В разгар белых ночей сидит, например, Юляша со своим училищным дружком, с тем самым Колькой, что опозорил насчет балерины-мамы и дал дурацкое прозвище, но после винился и во время болезни каждый вечер валандался

с гостинцами, — сидят они по-товарищески на мостках. И видит Юля, как у самой поверхности воды тихо плещет большая рыба, похоже, голавль. Юляша опускает большую кисть в воду, и рыба трогает ее губой. И тут девочка на один короткий миг ощутила, как плотное тепло воды обступает ловкое тело, и хвост поворачивается рулевым движением, и Юля-голавль уходит на глубину...

— Ты чо? — спросил Колька, закинувший уже руку ей за спину, чтоб половчее обнять узкие стальные плечики, и живо граблю отдернувший, так как Юлька вся вдруг волнообразно содрогнулась и ахнула. — Чо ты? Я ж так, ничо... Я ж только это...

Но Юляша не слушала. Вынула ладошку из воды и прижала к щеке, зажмурившись.

— Чо, — завел опять Колька, — болит или чо?

— Чо-чо, — передразнила Юля. — Отстань ты, вот чо!

Вскочила так, что стукнули плохо сколоченные мостки, и убежала в дом.

И началось.

Кормит пса, старого, ровесника почти, беззубого Гаврика. Гаврик мокрым носом в пальцы тычется, лижет... А Юля вся ни с того ни с сего слабнет, тяжелеет, и бессильное это тело мучается от зуда и ломоты, а в глазах рябит, и от запаха хозяйской руки, смешанного с обморочным духом колбасы, хочется ей заскулить, да голоса нет, один хрип да кашель, и только благодарный язык тянется к любимой ладошке, до смерти любимой, до густых стариковских слез, мутящих и без того мутные глаза...

А в лесу, стоит положить руку на чешуйчатый ствол сосны — вмиг земля улетает далеко вниз, голова упирается в небо, ветер гудит в толстых волосах, немеют затекшие подошвы-корни, толчками пробиваются вверх смолистые соки, кое-где туго выдавливаясь на поверхность и застывая липкими горячими потеками.

Со временем Юляша научилась регулировать время этих своих чудных и чудных провалов в природу. Животные ее совсем не боялись, и она могла сколько угодно обнимать какого-нибудь лося за шею и даже целовать в длинную подвижную губу, он только глазом слегка косил. Иногда сохатый подгибал передние ноги в коленях, и Юлька забиралась к нему на спину, ложилась вдоль хребта и могла так висеть часами, в сладком сне грызя мощными зубами терпкую кору и обламывая о встречные стволы старые подгнивающие рога.

Не давались ей пока только минералы. Сколько ни лазила Юляша по отвалам брошенных разработок, ни припадала ящерицей к слоистым глыбам, непрочно держащимся в сплетении корней и трав на осыпающихся стенах карьеров, — ничего не чувствовала, кроме обычного каменного тепла или холода, никаких голосов, звона, никакого прозрачного зова, ни одной малоценной щетки хрусталя не нашла за все лето. Но, с другой стороны, может, там и не было ничего, в высосанной природе плоского правобережья.

В конце лета трехпалый Анатолий Игнатьевич позвал ребят, кого не держали дома особые дела, сходить на выходные вроде как в поход, с двумя ночевками. Палатки и спальники брался сам достать в охотхозяйстве, фонарики, веревки, спички и еду раскидали между всеми. Сам лично мастер запасся топором, бутылкой спирта и ружьем — на всякий случай.

Юляше Агафья Тимофеевна приказала — иттить со всеми, чай, найдутся добрые люди, помереть не дадут.

На белесом рассвете первым паромом переправились на левый берег Камы, где на кромку песчаных пляжей выходят чистые сосновые боры. Дальше лес густеет, в глубине в прекрасных и точных пропорциях смешивается с лиственным и охватывает многие километры до самых предгорий, где опять переходит в хвойный и по склону карабкается уже елями.

В паре часов ходу, на высоком берегу, кружевном от стрижиных гнезд, разбили лагерь. В реке, сказала вдруг Юляша, которая вообще рот раскрывала редко, а уж тем более никому никогда совет дать не посмела бы, — в реке воду брать не надо, с верховий отравка идет, рыбу губит.

— А ты-то почему знаешь? — удивился Игнатьич.

— Слыхала... — неопределенно потупилась Юля, ковыряя большим пальцем песок. Дура она, что ли, докладывать, что о рыбьей судьбе узнала непосредственно от рыб?

— Ну и как же нам без воды? — усмехался недоверчиво Игнатьич.

— Правда что! — поддакнула толстая Колупаева, не упуская случая ущучить Юляшу за то, что Колька бегает за ней хуже собачки.

— А тут недалеко ручей в лесу, вода аж сладкая, ей-богу, — Юляша сочла необходимым перекреститься.

И опять вскинул лохматые брови Игнатьич:

— Почему знаешь?

— Да мы тут, еще баушка глазами не болела, за грибами ходили... — наврала информированная буквально источниками Юляша, но креститься на этот раз, конечно, не стала.

Схватила ведра, бросила Кольке через плечо:

— Ну, чо стал, догоняй!

Каждое лето Андрюха отправлялся в бега. Бомжем он, в отличие от своих корешей, не был, имел и прописку, и домик километрах в десяти от МКАД — хотя и халупу, всю кривую-косую, с проваленной крышей и окошками, забитыми фанерой, но, однако, жильё, даже печка была железная чуть не с военных времен, с трубой в окно. Зимой многие у него перетапывались, в том числе и Зинка-балерина, которую Андрюха уважал больше других за то, что не гоношилась своим прошлым даже спьяну. Лично Андрюхе, будучи с ним в хороших половых отношениях, Зина кое-что рассказала — что помнила, а помнила она немного. Что вроде бы девочкой танцевала в балете где-то на Урале, а потом как-то попала в Москву, и взяли ее за редкое дарование чуть не в Большой театр (тут Андрюха, правду сказать, сомневался). А чтобы получить хоть какую-никакую роль, а не всё мотыляться в маленьких лебедях, пришлось Зинке дать одному культурному начальнику (не в смысле, что был культурный товарищ, а просто командовал культурой, и это Андрюха понимал, так как культура и в его, Андрюхином, лице потеряла некоторого деятеля, но об этом потом). В театре ловить в сексуально-карьерном отношении было нечего, потому что все голубые, вот Зинка и дала чиновнику. Не очень большому, но все-таки. За это она получила на один сезон партию Жизели, но забеременела, и ее хотели уволить, но чиновник вступился, и она честь-честью родила, кажется, девочку. И еще даже какое-то время потанцевала. А потом самого этого дядьку отправили на пенсию, так как был он, строго говоря, старый пень. «Да мне, — говорила Зинка, задумчиво уложив острый подбородок на запястье, чисто любительница абсента, — при любом раскладе все одно до солисток — срать-пердеть — колесо вертеть. Пусть даже я бы и еще кому дала, помоложе, так солистка — она тоже на месте не стоит. Замуж выйдет, хоть бы и за пидора, а у этих пидоров там — мафия. Не, не догнать...» Этот парадокс, сформулированный Зинаидой лично, приятно Андрюху удивил, и прозвал он ее Зеноном. А Зинку вскоре, как она

изящно выражается, из театра выпиздили. И, соответственно, из общежития. Дочку взяла бабушка, Зинкина мать — к себе, на Урал. А сама Зинка пошла скитаться. Вот и вся история в духе критического реализма.

Андрюха пригрел Зину, когда та была уже зрелым и запойным бомжем. Эта мускулистая малышка, что одиноко выпивала и закусывала какими-то огрызками во дворе его мастерской, понравилась ему своим анатомически подробным телом и дешевизной. Скульптор Андрюха, приглашая Зинаиду в натурщицы, приобретал практически совершенную модель из костей и мышц, типа супового набора. При этом он был свободен от оплаты ее труда, поскольку, как всякий порядочный художник, вступал со своей моделью в необременительные близкие отношения. За время романа с Зеноном Андрюха изваял множество балерин с искаженными пропорциями, динамичных детей, Дон Кихота на привале, а также маленького Георгия Победоносца, каковой, будучи сам вверх тормашками, поражает спиралевидного змея.

А дальше было так. Зенон, к счастью, где-то бродил и не мешал Андрюхе заканчивать в гипсе заказ одной серьезной конторы — бронзовая женщина с телом Зины, без головы, но с крыльями. Эту богиню победы Нику фирма хотела водрузить прямо в вестибюле, в человеческий рост, чтоб, значит, знали, говно, кому кланяться. Безмозглая гипсовая Ника была, собственно говоря, готова, и в ожидании отливщиков Андрюха расслабился, как Дон Кихот на привале, выпил припасенные именно для этого случая остатки дареного виски и лег всхрапнуть на продавленную кушетку среди тряпья — запрокинув скорбное лицо распятого Христа и в той же позе, но в горизонтальной плоскости, среди пустых бутылок, с непогашенной сигаретой в пальцах свисающей до полу могучей руки. Ну и само собой — сигарета падает на стопку старых газет, занимается бумажный абажур стоящей на полу лампы, огонь разгорается, перекидываясь на бумажные макеты и деревянные полки с сотнями гипсовых заготовок и мелких работ в бронзе и других сплавах.

— Ничто так не завораживает, как огонь, вода и чужой труд. В этом смысле пожар — идеальное зрелище, — шутил впоследствии Андрюха, выпрыгнувший с горящей задницей из окна, слава богу, первого этажа. Пожар был знатный, чудом локализовали. Но сам Андрюха в одночасье лишился всего.

По Калужскому шоссе сразу за МКАДом доволакивала свой крест какая-то его столетняя тетка, единственным родственником которой он неожиданно явился. Так большой художник Андрей Филин стал домовладельцем, и этуаль Зинаида Карасева отныне забредала к нему на правах исключительно сердечного друга, поскольку Андрюха увлекся вдруг анимализмом, стал резать по дереву никому не нужных птичек, мелких млекопитающих и гад морских. Растерял клиентуру и впал, можно сказать, в ничтожество.

Этуаль забредала сама и приводила своих товарищей по несчастью свободы. Всей этой кодле Андрюха оставлял на лето в пользование свой так называемый дом, а сам отправлялся, куда глаза глядят, наиболее дешевым путем — в проводницком купе общего вагона, за обогрев не слишком молодой и одинокой бабы с золотыми зубами, поскольку проводницы общих вагонов похожи одна на другую как родные сестры, и замуж их никто не берет в силу кочевой жизни, и хозяйничать они не умеют, а потому в вагонах у них грязь и бардак, и что бы им не пустить к себе не старого еще парня с хорошим лицом, сильными волосатыми руками и веселым разговором, не пожалеть в ответ на его душевную жалость, не ослабить хоть на одну краткую летнюю ночь узду, уже изорвавшую губы в кровь...

Ехал Андрей то на юг, то на север, то на запад, а то и на Дальний Восток, в глухомань, где нанимался на какие-нибудь полевые работы, или плотничал, или шабашил рабочим в геологической партии, или браконьерствовал. За лето он наколачивал не так уж мало денег. Ближе к сентябрю, когда открывался сезон, Андрюха мог позволить себе купить лицензию и охотиться легально, не таясь. От хорошей жизни осталось отцово ружьишко с давно истекшим сроком регистрации, которое он возил в разобранном виде в рюкзаке. В далеких охотхозяйствах никаких бумаг на стволы обычно не спрашивали, а если проблемы возникали, Андрюха легко их решал старым российским способом. Егерская такса была повсеместно четыре бутылки хорошей городской водки плюс местная пушнина. Один соболь (колонок, куница) шел как две выдры или десяток тех же зайцев, и торг был не только уместен, но и обязателен.

Случались у него кабаны, на Вилюе подфартило раз с песцами, трех матерых самцов взял и одного недопеска. Но, к примеру, лис, да и вообще настоящего габаритного хищника не было на счету ни одного.

Между тем, мечта о серьезном звере была. Но медвежья охота открывается, как известно, только зимой, когда подрастает потомство. А к этому времени Филин уже возвращался на Калужское шоссе, чтоб ошибочно не сочли его окончательно пропавшим или мертвым и не конфисковали в пользу, как говорится, государства имущество. Грешить же и оставлять детеныша без мамки Андрюха не мог (хотя попадаютса и такие твари).

Поэтому можно понять, какие противоречивые чувства испытывает Андрюха, буквально затаив дыхание и слившись с густым подлеском на краю поляны, поросшей длинной, седоватой и совершенно шелковой травой. На его глазах из малинника выходит к ручью огромная медведица с малышом и принимается за воспитание: загоняет медвежонка в воду, откуда он удирает, вздымая фонтаны брызг, а она ловит его чудовищной нежной лапой и, держа зубами за шкуру, показывает мастер-класс рыбной ловли.

Но в момент этой, можно сказать, идиллии Андрюху словно бьет поддых едва ли не сковорода этой самой медвежьей лапы. У него перехватывает дыхание, дико сохнет во рту, и как бы ледяной коготь начинает царапать спину под лопатками. Взмокшими вмиг руками хватает Андрюха ружье и припадает щекой к прикладу.

На поляну с другой от него стороны ручья, то есть ровно к медвежьей рыбалке, из леса на всем скаку с хохотом вылетают, гремя ведрами, пацан и девчонка. Медведица на удивление легко поворачивается и с утробным рычанием скалит желтые клыки: Андрюха видит это с необъяснимой четкостью, будто в морской бинокль. А медвежонок косолапо подбегает к девочке и большой головой бодает ее под колени.

Андрей с колотящимся сердцем целится в затылок медведице, понимая, что должен уложить ее с первого выстрела, не задев ребят. Он хорошо помнит, что у гиганта есть всего три точки, куда можно стрелять наверняка: бабья левая подмышка и глаза. Два близко посаженных глаза на узкой морде. И при этом не задеть ребят. То есть как раз спасти их, понятно? А не задеть, едрена мать, в придачу раздразнив зверя какой-нибудь пустяковой раной!

Пацан падает и, подвывая, на заднице отползает от ручья. Психовая же девка весело и даже счастливо смеется, валится с медвежонком в ручей и там тискает, чешет, щекочет, как щенка. Медведица медленно подходит к этой сладкой парочке и ужасно, жутко медленно заносит лапу...

Андрюха зажмуривается, а когда приоткрывает один глаз, то решает, что вот, наконец, и достала «белочка», хотя за последние три дня он выпил не больше полбутылки — с егерем.

Медведица мирно лежит на боку и только что не мурлычет, медвежонок, прижавшись к ее животу, сладко чмокает, а девочка, словно нимфа ручья, вся мокрая, свернулась калачиком в густой шерсти медведицыного брюха и гладит его, что материнскую грудь.

Потом медведи ушли, а паренек, икая от истерики, как-то дремотно, обморочно пытался бить девочку по щекам, по рукам, по голове.

— Нишкни, нишкни, Колюня, — ласково ловила его руки Юля. — Она б меня нипочем не тронула, точно тебе говорю...

— С чего ты взяла? — хрипло спросил Андрюха, выходя из своего укрытия на ватных ногах и с дергающимся ртом. — С чего ты взяла, чертова дура?!

— А вы кто? — Юля испуганно спряталась за Кольку.

— Я человек, — сказал Андрюха подобно Сатину. — Человек, поняла, чума, а не медведь! Не-мед-ведь!

— А чо с ружьем? На медведей нет охоты, — строго сказала Юляша.

— Поучи-ка, без сопливых скользко. Твою мать! А если б она разорвала тебя нахер?!

— А вы, пожалуйста, не ругайтесь! — Юля вышла вперед, велев Кольке: — Иди, попей вон водички. И набери, а то придем с пустыми ведрами, как дураки.

— Братан твой, колдунья? — усмехнулся Андрюха.

— Не... — смягчилась наконец Юляша. — Колька это. Дружок с училища. А я не колдунья, не думайте. Просто...

— Послушный какой. Тебя все так слушаются или только медведи и Колька?

Юля засмеялась.

— А вы охотник, ага? В сторожке живете? А мы там недалеко с палатками. Приходите к нам. По дыму найдете, ага? А я — Юля. А вы?

— Приду, — сказал Андрей. — Чаем напоите?

— Гостям завсегда рады, — с неожиданной солидностью подал от ручья голос Николай.

На тринадцать человек, включая Игнатъича, имелось четыре палатки и столько же спальных мешков. В первую ночевку

разбились по трое, мешки — девочкам, и палатку им на четверых. Пятая, Юлька, от спального места отказалась, захотела дежурить у костра. Коля вызвался напарником. Кто бы сомневался.

Впрочем, первую ночь на свободе никто спать не собирался. Глуховатый звон рюкзаков Анатолий Игнатьевич засек еще на пароме.

Парни, косясь на мастера, достали поначалу бутылки три портвейна.

— Вот это ты зря, — сказал Игнатьич совсем взрослому против остальных дембелю и, можно сказать, переростку Васе Хромову, которого вообще брать не хотел, зная общую бедовость хромовского семейства плюс опасная разница в возрасте с пацанами, причем отнюдь не в пользу Васиного ума.

— А чо такого-то! — сразу залупился тот. — Я рабочий человек, имею право!

Игнатьич правильно оценивал — с Васькой ему, если что, не совладать. Четырем сочащимся дурам, что хохотали сейчас в звездной ночи от Васиных армейских прибауток, очень скоро понадобится защита — от него же, пьяного, застоявшегося в стойле стройбата бугая. На пацанов, стремительно набирающих градус воли и крепкого шмурдяка, надежда слабая. Нервничал пожилой Игнатьич. Незаметно положил под правую (целую) руку ружье.

Юльке тоже было тревожно — по другой, правда, причине. Не нравилось ей ружье в траве. Разбуженная воплями у костра, гитарой, дико блеющей в Васиных лапах, самим огнем, с треском жрущим воткнутую вертикально сухую елку, — медведица бродила пока еще далеко. И Юлька изо всех сил старалась дать ей знак, чтоб шла прочь, что Игнатьич не промажет: давай, топай отсюда, мамочка, золотая-дорогая, топай к своему мишутке, не трещи, миленькая...

Придвинулась поближе к мастеру, положила холодную ладошку на трехпалую клешню.

— Анатолий Игнатьич, — шепнула, — а зачем ружье? Звери ж к огню не подходят?

— Я другого зверя опасаясь, Юляша... Поняла меня?

И зверь этот, будто его позвали, немедленно за их спинами вырос.

— Тихо, Маша, я — Дубровский! — сообщил Васька мастеру под общий смех и вдруг гаркнул в самое ухо: — Отбой!

Анатолий Игнатъевич нашарил ружье, но здоровенный сапог больно наступил ему на руку, и Василий Хромов скомандовал в темноту:

— Вяжи старшого!

Пятеро пьяных и совершенно очумевших мальчишек повисли на сидящем мастере, легко повалили набок, замотали ноги, заломили за спину и связали руки. Василий же тем временем, весело покрикивая: «Хенде хох, мои цыплятки!», попер с ружьем на девок. Четыре дуры от страшной бредовости происходящего моментально протрезвели, сбились в кучу и с бляением отступали к палатке, причем толстая Колупаева пятилась на четвереньках.

Колька с пацанами, не разбирая в темноте, куда и кого лупят, катались по траве, по-мужичьи хакая, по-детски всхлипывая и по-черному матерясь.

Андрюха с парой банок вареной сгущенки к чаю шел, как приглашали, «на дым» и попал в самый разгар веселья. Юльке отмахнул, чтоб развязывала Игнатъича, над пацанами пальнул в воздух, отчего клубок немедленно рассыпался, а Васька на выстрел и крик «Брось, сука, пушку!» обернулся, но не успел моргнуть, как «пушка» была выбита из его неверных рук, а сам он валялся с мордой, разбитой столь грамотно, будто над ним работала пара следователей одновременно или трое старших братьев посменно.

— Что ж вы, господин учитель, всякую шваль в лес берете? Не кабак. — Андрюха наблюдал, как Игнатъич в благодарность наливает ему спирта. — Вы не против, бутылочку я временно конфискую? И у господ гимназистов тоже. Вы когда возвращаетесь? Вот я провожать приду и отдам. Лежа-ать! — заорал он, заметив, что Василий корячится с целью встать. — В общем, Анатолий Игнатъич, до утра я тут побуду... А этого мудака, с вашего позволения, завтра лично посажу... Не плачь, горилла! На паром, на паром посажу и в город отправлю. Чтоб воздух не портил.

Вскоре компания, включая Кольку, в присутствии классного лесного мужика спокойного за подругу, от стыда расплзлась по палаткам зализывать раны. У костра остались трое. Андрюха достал из рюкзачка какой-то толстый корешок, вынул ножичек — и в несколько точных движений вырезал медведицу с медвежонком на спине.

— Ой, — Юлька выпучила свои совиные глазищи до размера небольших подсолнухов, — точно как моя, ага? — И глянув искоса на Игнатъича, заткнула себе рот обеими ладошками.

— Да ты мастер! — Игнатъич с уважением пошевелил бровями. — Учился где или так?

— Да всяко бывало... — Андрюха протянул фигурку Юле, а благодарному Игнатъичу свою кружку. — Давай, Толян, еще по чуть-чуть. Снимем стресс.

Из палаток неслись храп, неразборчивая ругань пацанов и придушенный смех до отчаяния глупых девок.

Вскоре, по-щенячьи свернувшись на одеяле рядом с надежными дядьками, в надежном лесу, под надежным небом, у надежного огня, зажав в кулаке надежную мать-медведицу, уснула Юляша.

Скульптор Андрей Филин растянулся на просушенной и проветренной за лето, теплой, укрытой длинными иглами и мхом земле и глядел на звезды, среди которых различал только Полярную поблизости от двух популярных ковшей, неизвестно почему зовущихся «медведицами». Задумчиво спросил:

— Скажи-ка, дядя, а ты хорошо вообще знаешь своих этих... бойцов?

Анатолий Игнатъич прикрыл спящую Юльку телогрейкой. Пожал плечами:

— Ну дак... Всё ж на глазах. Знаю, как не знать...

— А вот ты знаешь, что эта девочка, Юля эта вот — что она со зверьем общается... Ну как своя, будто сама зверек?

— В смысле? — не понял Игнатъич.

Андрюха, по-прежнему глядя в небо, рассказал мастеру, как чуть не рехнулся со страху сегодня утром на поляне у ручья.

Игнатъич реагировал неожиданно спокойно. Неторопливо прикурил от уголька, открыл ржавые под ржавыми усами зубы.

— А я ждал чо-то вроде. Прикинь. У ней бабка знахарка. Ну, по травам, понимаешь, отвары всякие... Прадед, папаша этой бабки, был хитник знаменитейший, корунды такие добывал — царскую корону украшали.

— Что за корунды?

— Рубины, твою мать! Вот же неучи городские... Куды алмазу против хорошего корунда! Да уж, поглавнее алмаза, это точно. Ну вот. Там и помер, в горах. Говорят, Змеёвка его погубила.

— Какая змеёвка? Змея?

— Не, не змея. Баба такая. Хозяйка руды.

— Это что у Бажова, что ли? Хозяйка это... медной горы? — улыбнулся городской неуч Андрюха.

— А ты не смейся. Дикие мы, думаешь? Может, и дикие. А только странность такая в горах бывает... Почистище всякого тебе Бажова.

Игнатъич стянул сапог, размотал портянку и показал охотнику стопу без большого пальца.

— Во, видал? Считаца, гадюка меня укусила, палец пришлось рубить. А ведь то навряд гадюка простая была. Простая-тка гадюка навряд говорила бы со мной.

— В смысле как это говорила?

— Дак как. Сперва-то я спал, ну она ко мне подлезла, к самому уху, и говорит — непонятно, вроде и не голосом, но я слышу, внутри головы-тка, всё до слова: уходи отседа, не тронь мой камень, и я тебя не трону. Я, конечно, решил — сон. Выпил с вечера, вот всяка хрень и прет. И наутро пошел на залежь — такой, мать его, малахит открыли — уж до того узор чистый по всему камню, аж резать ничего не надо... Ну, только примерился, где получше-то снять: раз! Как станет из травы, во весь рост, глазами зумрудными — сверк! И — шась в сапог! Я мигом сапог скинул, а палец уж раздуло, что буряк, и след от зуба, а змеюки-то самой нету ни хера.

— Ну а Юля, — перебил Андрей, — как это у нее выходит, вот хоть с медведицей той?

— Понимаешь, мил человек. Вот ты, к примеру сказать, в городе живешь. В городе у вас от природы один хер с хвостом. Верно? Все повырубили, потравили как есть. Не возражай, — Игнатъич поднял твердую ладонь, хотя Андрюха возражать и не думал. — Я хоть и не в Москве, но кой-где бывал. В Челябине бывал, в Перми само собой, опять же в Тобольске. Наблюдал, как там чего растет и произрастат. И скажу тебе по совести: ничо, окромя помойки да говна, у вас не произрастат. Согласись?

Андрюха виновато развел руками. Анатолий Игнатъевич выпил еще маленько и продолжал:

— Городской человек — он забил на природу, если так грубо говорить. Ни хера никакого понятия и рассуждения — что он есть от природы часть. Как от мамки. Не скажу, что и здесь сильно много понимают. Вот, к примеру, — Игнатъич мотнул головой в сторону палаток, — из этих-тка моих козлов тоже мало кто соображат. Дак они порченые, уясни! Телевизор всякий, компьонтер, прочая механика, танцы-манцы, девки голые, вся эта, извиняюсь, хуйня... Время такое надвигаца, Андрюха, что скоро в башке и тута вот, — мастер постучал себя кулаком под левой ключицей, — буквально с гулькин хер останется человеческого корня! А Юля... —

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru